

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ



КИНЕШМА

Из книги “Сорок второй, до востребования”

1

В Кинешме прошла бабушкина юность, и туда мы не раз ездили на каникулы к её сводному брату, дяде Коле Петрову, и жене его тётё Шуре. Время от времени и дядя Коля приезжал к нам в Замоскворечье — грузный, осанистый и напоминавший старого слона: нос с лёгкой горбинкой, длинное полное лицо. Молодым прошедший германский фронт, когда-то офицер и красавец, говорил он, подобно Ивану Николаичу Крушину, надтреснутым басом, только ещё более зычным, театральным. Считалось, что в Москву он ездил за нюхательным табаком и зелёным сыром. Но не сыр-табак нужны были ему, а дорога да поезд. Да четвертинка с резиновой чёрной пробкой, в которую ему возле магазина наливали, когда соображали на троих. Вот он и соберётся, и в своём чёрном драповом пальто метнётся по зимней кинешемской ветке.

Зелёный сыр бабушка покупала заранее и держала на случай дяди Колиного приезда, он был в виде конуса с отрезанной вершинкой, как перевернутый стаканчик.

Табак дядя Коля брал сам и пересыпал из кубической бумажной пачечки в круглую табакерку. Дядя Коля же научил ещё молодую бабушку курить. Лежал на диване:

ТАРКОВСКИЙ Михаил Александрович родился в 1958 году в Москве. Закончил Московский педагогический институт им. В. И. Ленина по специальности география/биология. В 1981 году уехал в Туруханский район Красноярского края, где работал сначала полевым зоологом, затем охотником. В 1991 году закончил Литинститут им. А. М. Горького. Автор книг “Стихотворения”, “За пять лет до счастья”, “Замороженное время”, “Енисей, отпусти!”, “Тойота-креста”, “Избранное”, “Сказка о Коте и Саше”. Главный редактор альманаха “Енисей”. Живет в с. Бахта Красноярского края.

— Маруська, прикури мне папиросу!

Видимо, спичек не было лишних, и Маруська шла к печке или к лампе.

Отправившись я у бабушки гулять, и на дяди Колин зычный вопрос: “Куда это он?” — она отвечала, что на лыжах кататься. А дядя Коля прерзительно-разочарованно тянул:

— Ну-у-о-о... — и, откашлявшись, декламировал: — “В эти годы у него должна быть одна дорога: туда, где она!”

От дяди Коли сладковато пахло смесью переработанной водочки и колбасы. Однажды бабушке позвонили с Ярославского, или, как она говорила по- довоенному, с Северного вокзала. Сказали, чтобы приехала. Вдрабадан пьяный дядя Коля сидел у стенки вокзала.

Бабушка крепко дружила с его женой — тётёй Шурой, которая жила в Кинешме и в Москву не металась. Она была украинка, урождённая Кисляк, дядя Коля привёз её с Украины. Родители её любили чтение, и на стене висел портрет Толстого. Говорила тётя Шура без акцента, была небольшого роста, с прозрачно-голубыми глазами.

Однажды, когда она гуляла по Кинешемской набережной, подошёл парочод. Московская туристка спесиво выговорила ей:

— Как живёте вы здесь, в эдаком захолустье?

Тётя Шура отвечала преспокойно:

— А для мыслящего человека нет захолустья. И здесь, включая театр, музей, картинную галерею и прочее, имеется совершенно всё.

У дяди Коли и тётя Шуры был единственный сын Алька. Трижды с фронта приходила на него похоронка. Две оказались ложными, а третья настоящая: в конце войны в Прибалтике его в спину убили из пулемёта. Алька был красавец несусветнейший, порода ушла и в дочь, и когда та приехала с Украины, сбежались все кинешемские парни. Тётя Шура её отправила восвосяи.

2

Моя первая поездка в Кинешму связана с ногтем. Перед зимними каникулами я катился с деревянной горки на санках, и большой палец попал под полоз. Бабушка кровавый ноготь забинтовала и сказала:

— Теперь сойдёт.

А я не понял:

— Как сойдёт?

— Так и сойдёт.

Когда, вернувшись из Кинешмы, я проковырял иглой почерневшую корку, под ней вырос молодой и чудный розовый ноготь...

В поезде удивила теснота и то, что переборки с людьми, сидящими по всей плоскости среза, начались сразу. Я ждал, когда они закончатся и за ними откроется нечто просторное, но дальше шли те же соты, пока одни из них не оказались нашими. Бельё из экономии бабушка взяла только мне, а сама прилегла с туфлями на матрасе. Проводница выговорила бабушке, бабушка, поджав губы, убрала ноги. Я за бабушку обиделся: было дико, что кто-то её, всегда справедливую, мог упрекнуть... И больно за неё, послушно убравшую худощавые ноги со своим каким-то изяществом, извивом и держа вместе. Туфли были носатые, когда-то чёрные, но шершаво оббитые до серости и с низкими бортами. Видимо, она их взяла с собой, а ехала к поезду в валенках. Зимы стояли морозные.

Северный вокзал, зима, ночь — всё новое и сильное образовало дух той дороги, снежной, вьюжной, с инеем в тамбурах, с законной тьмой и огнями. И звёздами, которые неслись куда-то вперёд за мелькающими ёлками, пока я не понял, что бегут-то как раз ёлки, а мы не то летим, не то парим в студёной связке со звёздами.

Из названий запомнился Александров, где нас перецепили на паровоз, и эта незримая паровозная тяга ещё добавила зимнего, свирепо-первозданного, неведомого. А я всё пытался ощутить новизну этой тяги по изменившейся побегке поезда. Проснулся я от ночной остановки: кто-то входил с сумками, таща морозный воздух. С торжеством бабушка сказала:

— Вичуга. — И, не удержавшись, добавила заветный перечень: — Вичуга, Нёмда, Решма.

Утром стояли на станции недалеко от Кинешмы, и я смотрел с верхней полки в окно на паровоз — он был кофейного цвета и, скорее всего, мне привиделся, по крепкому обычаю оставшись картиной навсегда. Другой образ, за него ручаюсь: гуляем по перрону, вдоль него работает маневровый паровоз. Он медленно набирает ход. Нарастает мощная и отрывистая отсечка, словно рубят пар, как тугую капусту. Она на четыре такта, ритмичная и оглушительная. И кажется, участившись, сольётся во что-то катастрофическое.

Особенно грозным было замедление и остановка паровоза. И то, что, когда он полз медленно, мог и фыркать, и не фыркать по настроению, что подтверждало его одушевлённость. Пар, валящий из соединений, локтястые привода. Дышла, вращающие колёса с неестественной бешеностью, их головки, описывающие эллипсы, — такого не было ни в одной технике. Другие машины прятали свои потроха под капоты и кожуха, а этот выставлял напоказ, будто кичась.

Ясно помню выход из поезда в Кинешме, умятый снег вокзальчика и обилие лошадей, запряжённых в розвальни, и эти розвальни с колокольным развалом к корме и похожие на расстёгнутый тулуп, в котором, извернувшись, боком сидел мужик. Розвальни были разные — и попроще, и побогаче, и везде с великолепным этим развалом... Морозно-свежо парил пахучий навоз с овсяными шелушинками, валялись ключья сена, и воробьи сновали под ногами. И бабушка шагала победно-счастливо.

Дорога закончилась, и в один из первых вечеров я увидел завораживающее тому подтверждение. Мы шли к бабушкиной подруге тёте Гале Целевич. К ночи вывезло и, на вдохе до слёз, до захлёба остро и враспор вставала морозная даль, отдавая дымком и ещё чем-то зимним и грозно знакомым.

Морозец не давал мешкать, но то, что я увидел во тьме поодаль, заставило замереть. Это был поворотный круг. На него заехал паровоз, стравливая пар и туманно светя под низ красным отсветом. Вот он встал и начал медленно разворачиваться. Я был уверен, что его крутит колесо, чёрный, как ночь, чугунный диск, хотя на самом деле вращалась только ферма с рельсами, а циферблат самого компаса стоял на месте.

Что-то было могучее в этом конце дороги и её же мгновенном возрождении. В том, что, набрав ход и долго летя в связке со звёздами, паровоз вдруг стал в полный разворот и сменил курс с такой мутящей планетарною силою, что, казалось, и звёздное небо теперь должно повернуться вослед.

Паровоз ушёл, а звёзды остались на месте и только придвинулись. Морозец тоже поджал. Протяжней залаяли собаки. И в этом раскатно-задумчивом лае, в угольном дыме и холодном переблеске огней и звёзд было что-то пронзительно-бесприютное. Но ближе к тёплому крову всё легче шагалось, объёмно и золотисто манили гостеприимные окна, ещё шаг — и родным до морозной слезы станет это бесприютное, зимнее, звёздное...

3

Дом дяди Коли и тёти Шуры — серый, этажа в четыре. Ещё никакого похода к тёте Гале, и мы только идём с бабушкой с вокзала. Заходим со двора — там лошадь с санями. Конская морда, жующая грызло, лиловатый язык, его вывихивающий. Жуёт так ожесточённо и так закидывая назад голову, будто её за секунду до нас взнуздали.

Квартира сумрачная, с высокими потолками. Обставлена вещами, которые когда-то перевезла в Кинешму моя прабабушка Вера Николаевна Дубасова. В гостиной особенно сложен и огромен буфет, нагромождение уступчиков, граней — сумрак, объём и нутряная даль. Туманчик... Гранёные стеклышки. За ними — блюдечки для варений, тоже гранёные, но мельче, скрупулёзной шаг огранки... Стулья, стол... Всё знакомо бабушке с детства — она здесь дома, будь то буфет или площадь с розвальнями.

К тёте Шуре обстановка попала из прабабушкиного дома. Он будто был на улице Песчаной, и помнится, мы долго его с бабушкой искали, хотя сло-

во “помню” тут вряд ли подходит: настолько спутано привидевшееся и виденное взаправду. Искали мы и нашли бледно-синий одноэтажный домишко и долго-долго напротив него стояли. Словно ждали чего-то — не то дом узнает нас и дрогнет стеклами, не то выйдет кто-то далёкий и знакомый до слёз, прижмёт к сердцу, и сольются в один щемящий замок два детства — далёкое и маревое бабушкино и моё — то зоркое, то туманное, но уже уловившее незримую тягу прошлого...

Дядя Коля больше сидит у себя, но иногда выходит и пытается меня развлечь. Однажды нарисовал на листке куски слов, чёрточки:

— Называется ребус. А ну-ка, что это?

Над “я” чёрточка, над чёрточкой написано “бед”. Зачёркнутое “за”. Я ничего не разгадал: а вся городьба эта означала: “Бед-на-я ка-была па-есть за-была”.

— “Па” — есть. А “за” — было. Видишь зачёркнуто!

Или спрашивает меня, что читал, а я говорю: “Последний из могокан”. Он в ответ: “Значит, ты Монтигомо Ястребиный Коготь”, — и смотрит на мой почернелый ноготь. Я говорю, что нет там такого в книге. А он не отступает и даже здороваётся: “О-о-о-о, Монтигомо Ястребиный Коготь!” А я стесняюсь и остро чувствую опасность цепляния и подгонки меня под его обычаи-повадки.

Дядя Коля уходил в свою комнату и слушал там радио. Однажды оттуда донеслась песня, женский голос пел: “Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море, Волга в сердце впадает моё”. И я представлял карту, разбирался, где Волга, где Каспий, где я, и выходило, что область сердца в районе Кинешмы.

Дядя Коля больше сидел у себя. Бабушка же с тётёй Шурой пили непрерывный чай в гостиной, а меня усылали в соседнюю комнату читать Чехова. Чаем, конечно, меня тоже поили, но расслаживаться не давали. Бабушка выпроваживала командно, а тётя Шура смягчала дело рассказом о пользе чтения: как в её юности некий приехавший всучал ей “Вешние воды”, а она фыркала: “Вот ещё: воды какие-то! У нас тут и свои не хуже! — говорила она с интонацией “А у моего батюшки и сливочки не едятся!..” — Особенно по весне, когда Волга стронется”. Я видел забавность её молодого фырканья и не воспринимал пример как наставление к чтению. И выходя, повисал на дверном косяке, а бабушка говорила: “Не отвечивай”.

Комната, куда меня высылали, была, как и вся квартира, с высокими потолками и мрачноватая. Что-то тоскливо гудело в доме, в трубах ли, и я впадал, бывало, в тоску, но чтение побеждало. Сидел я за столом под зелёной лампой и читал прекрасное издание Чехова — большое, в светло-серой обложке с тиснением. Там был и рассказ “Мальчики”, где упоминается тот самый Монтигомо. Но мне почему-то особо запомнился рассказ “Злой мальчик”, причём розовыми ушами, за которые мальчишку драли молодожёны. Я настолько ясно представил это ярко-розовое на просвет ухо, что жил им долгие годы, пока, перечитав, не нашёл никакого описания розовости. Сказано лишь, что драли за ухо.

“Драму на охоте” я прочитал с упоением и испытал чувство манящей тоски, тайны, связанной с любовью и смертью, которое меня подхватило под самую душу и дало какое-то главное ощущение литературы, её таинственной силы. Перечитав взрослым, я был разочарован: образ главного героя, которого Чехов почти презирает, я принял за чистую монету.

Читал я обычно вечером, а днём мы с бабушкой бродили по городу. Была в Кинешме площадь в волжском духе и звавшаяся в старину Торговой, с купеческими домами, торговыми рядами и угловым магазином, будто вырубленным из неровного крепкого творога. Стояли морозы. На подходе к площади так тянул ветерок, что ломило щёки, сводило выступы скул, и я останавливался и поворачивался спиной. А бабушка заранее мазала мне “морду” гусиным жиром, и я хорошо помню его сытый запах и чувство своих блестящих мазаных щёк. Греться мы заходили как раз в бело-творожный дом, в магазинчик. И в магазинчике звучало волжское оканье, кто-то покупал мОлОко, и морщинки у бабушкиных глаз весело светились.

Набродившись, мы возвращались домой, к столу с обедом и бесконечным чаем. Когда мне удавалось при нём задержаться, тётя Шура обязательно рассказывала что-то волжское. Как празднично и долгожданно идёт весенний лёд по Волге, а вскоре за ним и первые пароходы. И что есть даже астраханские, огромные и особенно будто белые.

Эти астраханские настолько поразили моё воображение, что я пробредил ими до весны.

4

По возвращении в Москву в Замоскворечье я некоторое время показательно окал, писал под бабушкиным руководством открытки дяде Коле и тёте Шуре. А потом жизнь взяла своё, и Волга будто отошла, спряталась до весенних каникул в туманчик. Жизнь эту бабушка описывала в дневнике так:

“5 февр. Вымыла пол, вымыла Мишку — обоих очень чисто. Спит, свинка, в чистенькой постели. Ручка его не пищит, всё перо скособочено — завтра покупать, а у меня денег 7 р. — 4 на школьные завтраки в понед. отдавать.

2 дня не ходил в школу — по радио позволили из-за мороза, а я под предлогом дала отдохнуть. И начали читать “Тимура” (кстати, приходится всё объяснять, но интересуется очень, всё просил читать ещё).

Вчера прочитали “Тёму и Жучку”, а сегодня ещё “Неслуха” про медвежат, что взял в школе давно ещё. Читает ещё плохо. То начинает с середины слова, то задом наперёд, и никогда не догадается по контексту, пока не прочитает, что это за слово. Удивительный тяжелодум. Многих слов просто не понимает, например, вчера “свежескошенная” и сегодня в “Тимуре” не помню какие слова. Учительница раз сказала: “Способный мальчик, всё на лету схватывает”. Какой уж там лёт! Просто она взяла штамп. Он понимает, когда что-то точно, ясно. Надо понять и запомнить, но без применения живого ума и смекалки. Как-то не так пишу... Не могу объяснить. Будем читать вдвоём до беглости, а потом, вероятно, через год начнёт читать один. Сейчас ему лень; и плохо понимает.

Мишка ужасен. Уроки делает так же, как ест. Куда-то бежит, отвлекается, то рисует, то с каким-то пластилинами мажется к машине. Весь день уходит на мишканье, сегодня 2 раза всыпала ему полотенцем”.

Так с “мишканьем” и дожили до весны...

В день нашего прибытия в Кинешму висящее в сыром воздухе слово “ледоход” так будоражило и манило, что я, едва сойдя с поезда, уже волок бабушку на берег, совершенно как тот конь с пенным грьзлом из первого приезда. Улица упиралась в мутный просвет Волги, в настолько паркое молоко, что никакого того берега видно не было. Город тонул в тумане, который я принял за обязательный признак ледохода, словно перемешанная со льдом река обязана превратиться в облачную взвесь и переполнить окрестность. Весенний туман, мягко скользящая каша, мутно-жёлто-зелёная мешанина льда и его шорох так и остались чем-то невиданным, и никогда больше не встречал я ледохода в таком тумане.

Вдохновенная и вздымающая сила шла от проснувшейся Волги, светлое волнение стояло абсолютно на всех лицах, и город походил на огромное дитя. И всё это означало, что скоро начнётся навигация, и я увижу астраханский.

Снова я на кухне у тёги Шуры ем варенья из хрустальных блюдецек и смотрю на бабушки-Верин буфет. Такие же створки с гранёными стеклышками, та же тётя Шура и та же Кинешма, но... что-то непоправимо изменилось в этом уже родном для меня доме. Нет дяди Коли. Во дворе его, пьяного, придавил к стене пятящийся грузовик. То, что всё произошло не при мне, что всё подметено, до синевы подчищено к моему приезду, усиливает ощущение меня маленького, которого будто шадят, берегут от страшных событий. И дарят праздниками.

Волга расчищалась ото льда, но всё не шли ни астраханские, ни другие пароходы, и длилось бесконечное ожидание, таскание бабушки на берег, мучительное выглядывание речной дали, в которой однажды странно, одиноко

и невыносимо долго синела вдали сверху какая-то низкая баржонка. Словно замершая городошная бита, медленно-медленно вращаясь, она сплавлялась по течению, и я изнывал от загадки и тоски: что же это за судно, что с ним случилось и где же, наконец, настоящий пароход?!

Помню свежайшее утро, ощущение края, который подступает на берегу большой реки, и наконец изменившаяся речная обстановка. Привёл баржи небольшой буксир с угольно-чёрным корпусом и круглыми в деревянной окантовке иллюминаторами. Вид его меня заворожил, особенно иллюминаторы, такие же круглые кранцы из шин, и то, что звался он “Углич”, да ещё тащил баржи с углём. Хотя образ ещё не дополнился самим Угличем, Дмитрием-царевичем и Пушкиным. Но и это не за горами...

Нашёл у себя в дневнике старинную и местами выпренную запись: *“Виденное и привидевшееся в детстве закреплялось бесчисленными обращениями к этим воспоминаниям и наполнялось тайной, от которой сосало под ложечкой уже секунду спустя. Но особенно остро и мучительно наваливалось воспоминание по прошествии времени, войдя в особую полосу свечения, которая тащилась за мной с тросовым провисом года в два-три. Столь мучительная сила воспоминания тяготила, пока я не понял, к чему сподвигают эти баржи с углём былого: что нет им лучшего применения, чем стать топливом для книги. И что столь сильному переживанию той или иной жизненной поры нет иного объяснения”*.

Зимой буксиры вмёрзшими утыгами стояли в затоне Кинешемки, и я бродил меж них, омертвело-сонных, и в чёрно-белом зимнем свете деревянные окантовки иллюминаторов гляделись выцветше-серыми. Но тайны в них было не меньше, чем в их грядущем весеннем собрате “Угличе”. И если маленькие буксирчики на меня производили столь сильное впечатление, то что уж говорить о большом пароходе, да ещё загадочно-астраханском!

Уже Волга очистилась ото льда, а я всё таскал бабушку на набережную, по которой мы бродили под её рассказы про буксиры и расшивы — деревянные парусные суда, ходившие когда-то по Волге. И про то, что баржи в составе называются пыжами, и бывает два типа “счала”: когда друг за другом и когда борт к борту, и что, когда борт к борту, — это “пыжевой счал”.

Как-то солнечным днём оказались мы с бабушкой на площади и обнаружили возле творожно-белого дома гнедую лошадь, запряжённую в нечто чёрное, истрёпанно-кожаное и великолепное. “Гарантас”, — почти прошептала бабушка. Потом мы пошли с площади к набережной, и бабушка, впившись взглядом во что-то впереди нас, якорно потянула мою руку вниз: нам навстречу нес мужик на руках огромного глухаря — мощный и рыхлый ворох с тяжко свисающей шеей. А потом...

А потом я вдруг увидел торчащие антенны чего-то восхитительного, что скрывалось за высоким берегом. Настолько необычайна была эта белая мачтовая городьба, за которой свежо и нежно синел волжский простор, настолько она изменила и берег, и город, и меня, что я побежал к Волге с истощенным криком: “Бабушка, астраха-а-а-анский! Астраханский!”

5

Пароход оказался не астраханский, а обычный двухпалубный. Звался он “Собинов”. Приход астраханского как-то размылся, загордился этим “Собиновым”, в звучании которого мне слышалось что-то немислимо пароходное — казалось, при этом звуке кто-то с присвистом продувает огромную трубу...

Сколько мы с бабушкой выходили по Кинешме под негромкий её голос, одному Богу известно. Много рассказывала она о завожжских лесах, полных боровой дичи, о Николай-Матвейче и его легавых собаках, делавших стойку на красную дичь, и вообще об охоте. И очень смешно изображала напряжённо замершую собаку с поднятой передней лапой. Рассказывала и о кошке Капе, которая увязывалась за бабушкой в лес и, когда её прогоняли домой, делала вид, что ушла, а потом возвращалась, и бабушка, зайдя в хвощи, по их шевелению видела, как крадучись идёт параллельным ходом кошка.

Была трагическая история: парень катал девушку на лодке и решил подстрелить утку. В секунду, когда он нажимал на спуск револьвера, девушка встала, и пуля пришлась ей в голову. Это уже было в послереволюционную пору, когда в Кинешме жил Сашка Гурьянов, шепотливый и видный бабушкин двоюродный брат. Сашка был комсомолец, боролся с церквями и звал бабушку в комсомол, а та не шла. Сашку этого я помню в образе дяди Саши Гурьянова, необыкновенно породистого, осанистого и с седой, ярко светящейся причёской — с такой яркостью горит боковой свет на пере чайке. Серебром из-под плоской тучи.

Дядя Саша приходил к нам в Замоскворечье. С расстановкой повествовал: “Э-э-э-э... один полковник купил хромированную “Волгу”, и поставил на зиму под брезент. Весной “Волги” не оказалось, обнаружилось некая э-э-э-э... форма из брусочков и кирпичи, подложенные под ступицы”. Бабушка говорила, что Сашка всё сочиняет.

Жил он какое-то время в Иванове, где работал журналистом и позже со слов старых людей “оставил добрую память” — там даже выходила о дяде Саше статья в журнале. С дядей Сашей связана важная страница бабушкиной юности. Она очень любила купаться, хорошо плавала и на спор переплывала Волгу напротив Кинешмы. И именно дядя Саша сопровождал её на лодке.

Всё это было невообразимо давно и, казалось, слова-рубежи “до революции”, “до войны” где-то в непосильной, книжной дали синеют — настолько отрезки эти превышали мои семь или восемь лет. И жаль было прошлого, особенно бабушкиного, такого отцветшего по сравнению с моим светящимся будущим.

Всё в Кинешме было пропитано бабушкиной школьной юностью и памятью о подругах. Подруги жили себе на Волге, не мечтая о других краях, жили девичьей своей жизнью, настолько лишённой заигрывания с этим самым девичьим, что нынче трудно такое и представить... И сравнить с чем-либо по осмысленности, интересу к жизни, простоте: читали и обсуждали книги, играли в лапту да городки, купались в Волге. Всё было по правде, и именно эта вместе добытая правда их и сплотила. Трёх я знал: двух тётё Галь и тётю Муру Раевскую, которая к тому времени уехала в Ленинград.

Тёти Мурина брат, молодой красавец, юродивый, в двадцатых годах бродил по Кинешме в веригах, а потом зловец исчез. Бабушка почему-то приносила “юродИвый”, а я её мучил про вериги: какой в них смысл. Бабушка отвечала: “В том, что никто тебя не неволит. — Что не неволит? — Носить их. Спи”.

Тётя Галя Молокова — худоцавая, черноволосая, с чёрными, будто матовыми, глазами, жила на горе за Кинешемкой на втором этаже двухэтажного дома, высокого и обшитого потемневшим тёмсом. Рядом стояла квадратная толпа лип, прозрачных и сквозистых.

И тёмный тёмс дома, и липы с оттенком в вишнёвость имели какую-то необъяснимую глубину и значимость, словно чего-то от меня ждали. И манили, но даже не грустным, а давешним, неизбывным, как зимний вечер, — словно кто-то взрослый во мне давно уже знал и липы, и дом на горе, и так приворожился, что его самого навсегда вытянула, приняла в себя эта даль, а теперь и меня маленького проверяла на верность.

6

Тетя Галя разводила на продажу цветы. В один из приездов бабушка, идя по улице, увидела торгующую тётю Галю. Проходила хорошо одетая пара, и она, протягивая букет, бросилась к проходящим с таким беспомощно-заискивающим движением, что бабушке нестерпимо больно стало за близкую подругу.

Дом тёти Гали Целевич не помню, зато саму её вижу, как сейчас: широкоскулую, с металлическими зубами. Муж — живейший, небольшой и беззащитно лысый мужичок, похожий на актёра Леонова. Лысость особенно безоружная, горькая. Лысина старательно перекрыта жидкими прядями. Представлялся:

— Владимир Ильич, — и с извиняющейся улыбкой добавил: — Но, цъ, не Ленин. — И развёл руками.

Оба несказанно нам рады, тётя Галя улыбается железными зубами, ведёт за стол, а там варенья — черничные, сливовые, яблочные — крупными мутными кусками в хрустальных вазочках. Владимир Ильич возбуждённо улыбается, шумит и налегает на зеленоватую поллитровку. Он шофёр грузовой машины и рассказывает, как весной проваливаются машины на переправе через Волгу. Как сам провалился, вылез уже под водой из кабины и не мог выбраться, тыкался в лёд головой, а я представлял, как он долбит лысой головой, а лёд не пускает. Раскрасневшийся Владимир Ильич говорил со страстью, с интонацией “от как бывает”, “всякое приходилось”, и в каждой истории звучало жаркое требование какого-то высшего, последнего объяснения произошедшего, чего-то такого, где не ищут виновных, а лишь дивятся, как знамению или знаку.

Рассказывал ещё историю, довоенную. По весне бывают морозцы после оттепели. Таким морозным утром шёл он льдом по конскому санному следу. И будто след оборвался, и он увидел мёрзлую мешанину льда и перед ней оторванные конские уши.

— Я как представил, как он тащил её! — замотав головой, вскрикнул Владимир Ильич и хлобыстнув ещё рюмку, заел капустой. — Кормилщцу!

Тётя Галя, едва он начал рассказывать, толкала в бок, зачем, мол, при ребёнке. А Ильич, закусив, грозно глянул на меня красными округлившимися глазами и, стукнув кулаком, рыкнул:

— Пусть знает! — И несколько раз рыскнул глазами направо-налево.

А потом вышел и вернулся с гармошкой. Прежде гармошку я слышал только на улице, а тут обрушилась на меня её непривычная для помещения громкость, жилистый напор. И ощущение, что музыка идёт сочным пучком, вкачивая в жизнь если не театральное, то что-то несомненно высшее по весу и остро противоположное обыденному, прозаическому...

Пел Ильич мало — больше играл, подстанывая, отклоняясь корпусом, напряжённо доигрывая лицом, которое даже тиком бралось в особо трудных местах мелодии.

Сидел он рядом со мной, и было два звуковых слоя: где-то шла музыка, а совсем близко пуговично клацали кнопки. Особенно это слышалось, когда, играя плясую, он набивал по пуговкам кистью, и они отзывались сухой чёткой.

Меха гармошки были не раз помяты, и когда Ильич тянул, то одно особо измочаленное место мятым треугольничком всасывало внутрь. Запомнилось именно ближнее — жизнь пуговок, мехов. Сама музыка ещё скользом шла, и из глубоких впечатлений осталось, пожалуй, одно: когда зазвучало нечто торжествующее, монументальное, снежно-дорожное... Что это было — “Степь да степь кругом” или и впрямь Свиридов, не знаю. Помню только, что музыка не рекой текла, не потоком. Она ликующе стояла завесой.

Он снова заиграл, но вдруг прислушался, замер и поставил гармонь на табурет. Принёс трёхкопеечную монетку, заточенную с одного бока, отвернул ей шурупы и разобрал гармошку. Открылись бумажная изнанка мехов, деревянные комнатёнки с планочками... Что-то в них вывалилось. Несмотря на несовместимость пересохлого гармошкиного нутра с водочной дрызглостью Ильича, он уверенно и осторожно выудил упавшую рамку, поставил на место и, собрав гармошку, сочно жамкнул мехами. Звук пошёл отличный.

Потом отдал мне гармонь и приложился к хрустальной своей рюмочке. Я потянул меха, и они отозвались расслабленно нестройно.

— Дело мастера боится! Был в Заволжье... — Ильич махнул вдаль рукой, а тётя Галя покачала головой:

— Ну всё — замахал Ильич руками!

— ...Был в Заволжье на два села один гармонист. Заядлейший. Ещё говорил: “Ты неправильно играешь. С подтыром надо”... Гулял в деревне одной — играл-играл, а его ждут в другой. На свадьбе. А он всё играет, потом только пошёл. А меж деревнями овраг и лес кругом. Густой. С черникой. С малинником. А где свадьба — его хватились и пошли вызволять. Слышат —

далеко-о-о-о... — пропел Ильич, прикрыв глаза, — в овраге гармошка. Да только играет странновато. В овраг-то спустились, а мимо них медведь ка-а-к повалит. А гармонь играет. Подходят — Михалыч на земле сидит и наяривает. Как заело его. Окоченел весь: пальцы от гармонии еле отлепили. Оказывается, медведь на него попёр, тот орать на него по матери — не помогает. В дыбки встал — идёт. Тот давай тогда играть: хоть помру с музыкой! И что думаешь: медведь стал, как вкопанный, аж мох взлетел — слушает. А перестанет играть — в рык и к нему. Тот снова играть. И остановил! Остановил. Два часа играл. Прикоченел, как колотушка. Ещё и язык прикусил. Язык-то длинный!

— А ум короткий! — сказала тётя Галя, и все засмеялись.

7

На краю города сосновый бор, гора и овраг. С горы я съезжал на лыжах. Нёсся с упоением от свиста ветра и налетающей силы дороги, в которую еле ухитрюсь вживить лыжины, еле успеваю перетапывать ими, ловя равновесье на буграх и ямах. Лыжину ведёт вбок, и могучая сила подсекает и валит меня. Вспахиваю лицом снег до нашатырной рези в ноздрях. Задыхаясь, успеваю ощутить великолешие снежной пыли, вставшей облаком. Пыль опадает, отираю мокрое лицо, бессильно облепленное снегом, хлопаю, шевелю запорошёнными веками и встаю во всей раскоряке лыжин, выворачивающих ноги. Отстёгиваю резинки, отряхиваюсь, охлопываюсь, подбираю палки... Гляжу на изуродованную лыжню и лезу в гору.

Бабушка любила смотреть, как я несусь с горы, и долго выстаивала на взгорке под соснами. Как-то закатался я до синих сумерек, потерял рукавицу, которую мы долго искали, пока темнело и всё вокруг, и склон горы, и наши поиски всё сильнее обращались в какое-то застарело-знакомое наваждение... Тот же снег, тот же круг поисков, те же кусты ивы. И чувство, что всё это было, и какое-то вдруг иное ощущение и себя, и времени, и даже найденная тёмная рукавичка — как со дна морского.

Бабушка стоит поодаль как-то особенно недвижно. Я спрашиваю: “Бабушка, это ты?” И вдруг понимаю, насколько темнело, поднимаю взгляд в морозное небо и замираю — так ясно и близко сияют звёзды. Они поразительно ярки, особенно Млечный Путь, пролётший объёмно и пыльно во всё небо... Бабушка показывает свою любимую Кассиопею и Волопаса со звездой Арктур, и меня восхищают названия — в Арктуре мне слышится холодное великолепие и тайна, а Волопас смешит. Потом она переходит на Большую Медведицу: “Считай от стенки Ковша пять отрезков”. Я отсчитываю и попадаю на Малую. Бабушка говорит, что в ручке Малой — Полярная звезда, показывающая, где север. Она на самом приверхе неба, и север еле определишь.

Звёзды поразительны, и я впервые осознаю, что вся эта светящаяся бездна — не просто ночная обстановка Кинешемской окраины, а по правде существующие огромные светила, отстоящие на немыслимом расстоянии не только от меня, но и друг от друга.

Я замечаю маленький хрустальный ковшик. Он настолько прозрачно-прекрасен и будто объёмен, что я удивлён, почему не показала мне бабушка Плеяды в первую очередь.

Сквозимый дышащей бездной, я долго пытаю бабушку о бесконечности Вселенной, но она ничего мне может сказать, кроме того, что всё это “космос”.

При этом слове мне вспоминается приходивший к нам в Замоскворечье дядя Юра Диков, зять моей второй бабушки Марии Макаровны, негромкий человек с детски-синими глазами и залысиной какой-то очень нежной выделки, легко берущийся морщинами. Он был связан с физикой, и на мой вопрос, что за космосом, с тихо-загадочной улыбкой отвечал: “Ещё космос”. А я спрашивал: “А за ним?” Он снова улыбался: “Ещё космос”. Казалось, улыбка связана именно с ожидаемостью и повторением моего вопроса. И моим непониманием — ни этой бесконечности, ни этого перечисления.

И убеждённо, что меж вторым и третьим космосом обязательно должна быть какая-то граница, перепонка.

Фигура появилась внизу. Морозно скрипя валенками, шёл из оврага человек. Им оказался не кто иной, как наш Владимир Ильич, бедовый муж тёти Гали. Помню своё и удивление, и одновременно ощущение, что иначе и быть не может в этом очарованном кинешемском пространстве. И радость, что мы встретили Владимира Ильича, словно это доказывало какую-то справедливость вообще: настолько хотелось всех встречать — близких и дорогих, раскиданных по замоскворечьям, солнечногорскам, кинешмам...

Шёл Владимир Ильич шарящейся, низовой походкой, и было что-то в этом нарыске безутешное. Доносило от него водочкой. Под мышкой он держал гармошку, крепко обнимая, прижимал, словно она пыталась рассыпаться... Он остановился:

— Голоса потерял!

И долго говорил с бабушкой и махал рукой в сторону оврага, тёмно черневшего и уже будто висящего где-то в подножье сумрака, смешавшего ориентиры.

Оказалось, Ильич шёл из гостей и в овраге упал настолько сильно и нескладно, что гармошка, державшаяся на нескольких шурупах, развалилась. Выпали голоса, которые он в темноте не нашёл. Он показал на звёзды:

— Такой янец! Не засыпет. Найду завтра!

Дома я всё не мог заснуть: громоздились созвездия и налетала лыжня, множась на копии и бесчисленно сходясь-расходясь. С ночи засыпал медленный и мелкий тягучий снежок. Я, будучи на пике своей лыжной эры, ободрённый снежком, умягчавшим мой спуск, с утра отправился через Кинешму на гору. Всё тонуло в сероватой пелене, городские звуки словно подбило ватой, а фигуры казались обобщённо-чёрными. И на одной улочке вдруг с внезапным грохотом съехал снег с крыши.

Даль, подъём, сосняк тонули в туманчике, снежной крапчатой сыпи. Появилась издали чёрная фигура, она приблизилась, и я различил мешок за плечами. Владимир Ильич в мешке нёс гармошку:

— Пошли голоса искать!

В низине даже под свежим снежком всё было истоптано и изъезжено, и снежок пушисто повторял рисунок. Ильич вытащил гармошку, аккуратно разложил мешок и положил на него гармонь, причём не на середину, а ближе к краю, чтоб осталась свободная часть, которой он прикрыл "струмент". И принялся за дело. На корточках, а то и на коленях медленно снимал снежный пух, снежную заливку, вёл терпеливую вскрывшу, убирая пудру с окаменелой пропечатки. Потом и её, твёрдую, принялся прощупывать, вгрызаясь красными пальцами и просеивая меж них снежный песочек. Я, как мог, помогал ему, а он приговаривал:

— Не затопчи, главное, не затопчи... Должны найти... Грят, и иголку в стогу сена находят... Ведь сидит где-то и над нами смеётся.

Я попробовал чистый снег в стороне от вчерашней копанины, и какова была моя радость, когда, всерно взяв рукавицей, я вдруг нашёл металлический блестящий предметик, пластиночку с двумя прорезями, похожую на длинную пряжечку. На последних проходах руки она засинела сквозь пористый снежок. Не веря глазам, я убрал снег. Голос лежал, холодно поблёскивая. Рассеянный свет неба горел на нём ровно и сдержанно, и, казалось, сама музыка, как серебро, пролилась на зимнюю землю и застыла зеркальцем на выстывшем дне оврага.

Ильич тоже вдруг нашёл голос, потом ещё один. Лицо его сияло...

— Никуда не денется... — сказал он весело и сдунул снежок с последнего голоса.

Ильич откинул мешковину, как полость, достал из кармана монетку и отвинтил резную крышку. Странно было видеть шкатулочную бездонность гармошки на фоне оврага, серых кустов, падающего снега. Аккуратно, как рамку с сотами, он вытащил колодку с щербинами недостающих голосов.

Голоса приклеиваются на нагретый воск с добавкой канифоли. Всё было мёрзлое, и я хоть и ничего не понимал в гармошечном деле, но был уверен,

что обрадованный Ильич, убедившись, что все голоса найдены, приберёт их до дома. И было наладился из оврага, но Ильич, не глядя на меня, буркнул загадочно-тихо:

— Да подожди ты! — И засунул колодку с голосами за пазуху под пальто, а голоса стал греть дыханием. Потом достал колодку и положил на мешковину. Пошарил по карманам, зажжёт спичку и поднёс к голосу. Блестящее зеркальце шершаво взялось копотью, Ильич додержал быстро чернеющую спичку, лоскуток пламени подошёл под пальцы, и он не отпустил, пока спичка не сгорела полностью. Потом разжал пальцы, и она, чёрная, худоще-кривенькая, упала на снег. Расстегнув пальто, он протёр голос углом рубахи и, поставив на место, прижал. Потом так же прогрел, протёр и поставил второй и третий голоса. Пробормотал, кряхтя и очень тихо, с придыханием:

— Пока так... На холодную...

Потом аккуратно взял колодку меж ладоней и, наружу вывернув локти, погрузил её в гармошкино чрево, а на последнем движении, напряжённо взглянув на небо, кивком отметил, что пришлась по месту:

— Зато сыграем... на горячую... — И подмигнул: — Да, Михась?

А мне не верилось, что она заиграет. Но Ильич сработал мехами, и гармошка запела.

— Подсачивает, — покривился Ильич, глаза которого неуправляемо сияли. Медленнее и крупнее пошёл снег. — Пошли... — грозно и чуть дрогнув голосом, сказал Ильич и, заиграв, начал медленно, в такт снегу, подниматься в гору. Играл он ту самую кантатную мелодию, которая так мне запомнилась в тот вечер у тёти Гали. Что-то близкое к “Зимней дороге” Свиридова, которая теперь окончательно встала на место.

Ильич так и ушёл в снежный просвет под музыку. Пришла бабушка с проверкой округи — и потерянных голосов, и меня, и погоды. Перестал снег, и мутно пробилось солнышко. На его фоне тёмно гляделись остатки снежной крошки, с разворотом летящие из поднебесья. Под ногами всё рельефней проступали лыжные следы. Я съезжал с горы с громким воем. Бабушка спросила, зачем я вою, и я сказал, что “для грандиозности”.

8

Когда я подрост, бабушка устроила нам поездку до Астрахани туда и обратно на трёхпалубном и точно астраханском пароходе. Поход начался в конце мая и длился в оба конца дней двадцать.

Бабушка писала: *“На улице солнце, но ветер. Холодно. Ночью несколько раз ходила смотреть шлюзы. Соловьи пели со всех сторон. Сейчас берега интересные, а потом будет очень широко и скучно. Денег хватит. Проедаем не больше 3 р. в день, а то и меньше — порции огромные. Мишка изучил весь пароход и пока больше ничего не делает. Вечером в 7 часов 30-ого будем в Кинешме”*.

А я писал в письме школьному другу Ваське: *“Сперва мы 12 часов плыли по каналу. Пожалуй, самое интересное было шлюзы. Мы подплываем ко вторым воротам, тем временем первые ворота закрываются за нами. Мы пришвартовываемся к таким штукам на рельсах в стене. Воду спускают, и мы с этими штуками опускаемся до нужного уровня. Здесь полно чаек, сизых и серебристых. Видел даже крачку. Сейчас на Волге ветер — барашки... Проехали шлюзы. Бабушка дала читать “Годунова”. Письмо отправлю в Угличе”*.

Храмы, монастыри, памятники казались моими личными заметами, чем-то обычным и должным, и потом только выяснялось, насколько каждая из них единственна и общеизвестна. Запоминалось всё порой в запутанном порядке: знаменитую и многострадальную церковь в Бармине за Нижним я запомнил, будто она чуть ли не на въезде в Волгу. Увидев силуэт церкви с колокольней, я спросил про неё у высокой пожилой женщины с девичьим каким-то пучочком. Она гуляла по палубе и необыкновенно охотно ответила: “Это Бармино”, — причём тоном, как у бабушки, — когда названием всё объясняется. Меня удивило, что она мгновенно назвала первую попавшуюся

церковь, и было непонятно: то ли она всю Волгу так знает, то ли одно это место.

Следующим впечатлением была Калязинская затопленная колокольня, стоявшая среди вод мрачно и чуть косо. Дул ветер, и её низ был сумрачно и сыро захлёстан волной. Дальше — Углич с храмом Дмитрия на Крови. Потом помню Кинешму.

Опершись на деревянный брус, я часами простаивал у ограждения палубы в компании молодого ещё человека, казавшегося мне матёрейшим дядей. Он недавно закончил речное училище, и я его мучил судовыми и речными вопросами, на которые он отвечал негромко и наставнически подробно. Я спросил, почему на нашем теплоходе две трубы, и он ответил, что одна настоящая, а другая фальшивая, сделанная для вида. Говорили мы и про Кинешму, и про площадь, на которую мне обязательно надо попасть... Когда пришли и начали швартоваться, речник негромко сказал:

— Ну иди, иди. Посмотри на свою Кинешму.

Дальше был Горький, который бабушка звала Нижним. В Нижнем я проснулся от странной музыки — хорового пения, льющегося мелодично, ритмично, с медными подголосками. Оказалось, работает земснаряд, а мы стоим на рейде напротив города. В Нижнем бабушка стремилась в два места: к монастырю и в музей Пешкова. Алёша Пешков нравился ей своей мальчишеской тягой к книге. И она повторяла торжественно:

— Ну, Лексей, ты — не медаль, на шею у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди.

Звучало это и мне в упрёк, — мол, у тебя-то, слава Богу, до этого не доходит, так что знай, как бывает! И цени. Музейный домишко выглядел домашне — с деревянным, низеньким подворьем.

Потом последовал Волгоград с Мамаевым курганом, который мы подробно осмотрели весь, хотя, кроме фигуры Родины-Матери и стен-руин, я ничего не запомнил. Чебоксары привиделись мне выше Волгограда и запомнились благодаря зеркально-золотистому значку, купленному бабушкой у пристани. Я собирал значки, которых накопилось с горсть, но этот мне нравился особо. Золотистый фон, коричневые буквы, а сам зеркальный, и когда под небом — с отдачей в синеву.

Кругом все окали, и я тоже начал снова окать, имея врождённую чувствительность к говорам, в которые погружался с головой и, которые, воротясь в Москву, берёг в пику столичности.

На пароходе, добавляясь и сменяясь, ехали дети. Царило слоняние по салону и палубам, выбирание какого-нибудь матроса-кумира и хождение за ним по пятам. В салонах обязательные шашки, в которые я настропалился играть, и с такой скоростью обставил глухонемого молодого дядьку, что тот порывисто сгрёб шашки и ушёл. Был он чёрный, усатый и с густой чёрной щетиной.

Запомнилась ещё занозистая черноглазая девчонка с хвостиком. Как-то мы, бегая, потерялись с моим товарищем, и она, сползая вниз по поручню трапа и нависая надо мной, выпалила:

— Иди, он на третьей палубе, твой соперник!

Чем ближе к Астрахани, тем больше боялась бабушка холеры и мучила мытьём рук. В Волгограде зазвучал гхакающий говорок, который я немедленно и не в первый раз перенял, и, гуляя по Астрахани, говорил бабушке, как здесь много “гхорлиц”. Матово-бежевые кольчатые горлицы с тёмной рисочкой на шейке бегали, семена, под акациями по раскалённому асфальту. Жёлтый песочный свет был разлит над городом.

На обратном пути вырос вал на огромном Куйбышевском море. Пароход покачивало, и эту небольшую, но настоящую и первую в жизни качку я и изо всех сил выщупывал, сливаясь с палубой, и будто участвовал в ней, всем телом добавляя размаха. Второе посещение Кинешмы в памяти не отложилось. Зато команды “Отдать швартовы!” и торжественное “Прощание Славянки” на каждом отходе от пристани стали привычно-родными. Так же, как и кормление чаек с кормы, и бесконечные разговоры у поручня с моим

другом-речником: про города и пароходы, из которых мне больше всего нравились колёсные “Помяловский”, “Станюкович”, “Писемский”.

Хорошо легли на душу и волжские города — привычно родным стало устройство: набережная, площадь, торговые ряды, монастырь. Хотя музейное, монументальное, историческое до меня не особо доходило и больше запомнилось ближнее, людское.

Ехал благочестивый бородатый дед с подростком послушнического вида, худощавым, узколицым и веснушчатым. Бабушка говорила, что дед, видимо, священник. Обедавший с нами полковник скалозубского обличья назвал деда “поповатым”, а бабушка обиделась.

Был ещё парнишка в чём-то чёрном, истрёпанном, татарин или чуваш, веснушчатый, круглолицый, похожий на Мустафу из “Путёвки в жизнь”. Он был постарше и, будто отвечая за меня, поучал: “Надо масла есть, масла есть”. А я не понимал: масло или мослы. Был он разговорчивый, несуразный и совершенно раненый, безденежный, видно, сирота.

У бабушки он так описан: *“От Горького едет татарчонок лет 16-17. Был там на операции. Живёт в Куйбышеве, скоро доедет. Мишка с ним подружился. Он знает места и всё показывает. Едет голодный-холодный. Дали ему рубль: он вчера поужинал. Сейчас Мишка послал его завтракать — у него ещё осталось 40 коп. Всё это Мишку волнует. Хорошо. Я не вмешиваюсь”.*

А у меня так в письме: *“До Куйбышева я подружился с одним татарским парнем. Он ехал из Горького из больницы без копейки денег. Я дал ему рубль. Он вышел в Куйбышеве. Он работает на заводе и учится в вечерней школе. Я подарил ему переливающийся значок, курил ему мороженого и сока. Когда наш пароход отчаливал, он стоял на пристани и плакал”.*

По прошествии лет смотрю на Волгу издали и будто чуть сверху. Город с церквами, Торговая площадь с розовато-творожными домишками, пристань и ещё что-то белое, заветное на реке — не то льды, не то остатки тумана. Не то Стенькины паруса... Сильнее разгоняет клочья крепкий ветер, вздувает ребристую рябь, и вижу: буксир ведёт баржи пыжевым счалом, а за ними то самое белое и несбыточное — длинный пароход с колёсами и коптящей трубой. На палубе капитански стоит бабушка в плаще и с поднятым воротом, щурит глаза и курит “Прибой”. Играет “Славянка”. А я бегу к Кинешемской набережной с криком: “Астраханский! Астраханский!”